

А. В.
АМФИТЕАТРОВ



Избранное



Александр Валентинович Амфитеатров

Шлиссельбуржцы

«В «Киевской мысли» появилась статья г. Л. Войтоловского «Шлиссельбургское последствие», написанная на основании записок бывших шлиссельбургских узников М. Фроленко и М. Новорусского о выходе их на свободу. Статья г. Войтоловского, воспевающая величие коллективного инстинкта, пользуется трагическим примером шлиссельбуржцев для показания, как изоляция личности от коллектива толпы приводит даже «богатые и тонко одаренные натуры» к «оскоплению души». Не нахожу вообще удобным выставлять еще живых и здравствующих шлиссельбургских мучеников перед толпою в качестве субъектов, в которых будто бы «смерть коллективного инстинкта опустошила сознание». Но сверх того, обобщение в этом смысле, которое делает г. Л. Войтоловский, глубоко несправедливо...»

**Александр
Валентинович Амфитеатов
Шлиссельбургцы**

В «Киевской мысли» появилась статья г. Л. Войтоловского «Шлиссельбургское последствие», написанная на основании записок бывших шлиссельбургских узников М. Фроленко и М. Новорусского о выходе их на свободу. Статья г. Войтоловского, воспевающая величие коллективного инстинкта, пользуется трагическим примером шлиссельбуржцев для показания, как изоляция личности от коллектива толпы приводит даже «богатые и тонко одаренные натуры» к «оскоплению души». Не нахожу вообще удобным выставлять еще живых и здравствующих шлиссельбургских мучеников перед толпою в качестве субъектов, в которых будто бы «смерть коллективного инстинкта опустошила сознание». Но сверх того, обобщение в этом смысле, которое делает г. Л. Войтоловский, глубоко несправедливо.

Г. Л. Войтоловский награждает группу шлиссельбуржцев такими качествами, как «духовное оупение», «оскопление души», «самооскопление», «духовное банкротство» и т. п. Лишь ценою принижения интеллекта будто бы они «приобретали возможность вы-

нести столь долгое отсутствие импульсов к жизни». Таким образом, уцелевших шлиссельбуржцев г. Войтоловский с точки зрения коллективного инстинкта считает как бы вторым сортом. Первый, в котором «требования коллективного инстинкта оказались сильнее способности самоуничтожения», погиб в самоубийствах, сумасшествии либо «умышленно шел под расстрел шлиссельбургских сторожей». И «лишь немногие (по мнению г. Войтоловского), наиболее счастливо одаренные организации, которые инстинктивно чувствовали эту опасность духовного банкротства, искали спасения в недрах своего собственного мозга».

Как чуть не единственный пример этих счастливо одаренных организаций, г. Л. Войтоловский упоминает Н. А. Морозова, который спас себя будто бы тем, что «в течение многих лет подряд сочинял фантастические романы», — следовательно, воображением подменял действительность. Нет никакого сомнения, что Н. А. Морозов вполне сохранил свои коллективные способности, не только сохранил, но едва ли даже не приумножил,

так как вся его послешлиссельбургская деятельность – живое оправдание следующих слов г. Л. Войтоловского и цитируемого им В. Зомбарта: «Человек любит толпу, и рост коллективного инстинкта означает рост нашей привязанности к толпе». «Мы все теперь лучше чувствуем себя в публичных местах. Профессиональные собрания, клубы, общественные читальни, концертные залы, музеи становятся для нас вторым семейным очагом».

Итак, Морозов спас в себе коллективный инстинкт. И что удивительно: средством, настолько субъективным по существу, что оно по теории психологической, казалось бы, должно было скорее увести его в индивидуалистическую обособленность, в тот мечтательный аристократизм духа, который резко противоположен чувству толпы и любви к толпе. Однако на практике с почтенным Н. А. Морозовым получился результат совершенно обратный. Средство, которое обыкновенно от толпы уводит, его для толпы сберегло, и в день свободы бросило его, полуфантазера-полунаучника, в толпу истинно уже как

бы «твоя от твоих»: чрезвычайно популярным, ходовым, громким, разносторонне кипучим и, несомненно, демократическим писателем, рассуждателем и до известной степени деятелем. Как же так? Очевидно, тут не в средстве была сила. В чем же? Да в громадной индивидуальной жизнеспособности сильного организма, который выдержал процесс страшно трудного приспособления, сломавшего или истощившего организмы более слабые и менее жизнеспособные, и когда выдержал, нашел на новой почве новые средства зацвести и дать плод. Возьмите «Былое» и «Минувшие годы», перечитайте биографии и воспоминания шлиссельбуржцев. Не о «духовном отупении», «самооскоплении» и «банкротстве» заставят они вас думать, но о поразительной живучести интеллектуальной и физической энергии, вооруженной задачей самосознания. Задачу эту давала и энергию берегла надежда свободы, а надежду свободы делала дорогою и необходимою жажда опять быть полезными обществу. То есть тот самый коллективный инстинкт, о мощи которого г. Войтоловский справедливо рассуждает во-

обще, но почему-то отказывает в нем именно тем, кто проявил поистине сверхъестественную его силу. Погибло в Шлиссельбурге немало молодых, сильных, деятельных натур, могучий духовный организм которых, круто прерванный в своей работе – точно оторванное от привода маховое колесо, – продолжал напрягаться впустую, стирая и снашивая сам себя своею бесплодною ныне деятельностью. Погибло затем все, что вошло в Шлиссельбург обреченно больным, слабым, уже разбитым и безнадежным в смысле физического приспособления к новой чудовищной обстановке. Богатырство же выдержало. И не только выдержало, но еще окрепнуть умудрилось, новый закал приобрело. И отнюдь не путем «духовного отупения», или «банкротства», или искусственно выработанных «равнодушия» и «нечувствительности», а торжеством сильного человеческого духа над слабою плотью, памятью о далеких массах, которым они служили, – «коллективным инстинктом» в той высшей и благороднейшей его форме, которая знаменуется не самоубийственным метанием пленного перепела в клетке, а сознательным

сохранением себя для будущих возможных служений в твердом уме и со свежими силами. Волевая энергия жизни делала там чудеса. Сергей Иванов даже от туберкулеза умудрился вылечиться в Шлиссельбурге, в который вошел с кровохарканием, едва унимаемым беспрестанным глотанием льда. Чудо-вицны трагедии, закопанные в неведомых шлиссельбургских могилах...

...Страшная жертва самосожжения Грачевского, горло Софьи Гинцбург, перерезанное осколком стакана, и тому подобные ужасы – ликвидация бойцов – героический расчет с настоящим и дань прошлому. Но Панкратов, превращающий себя из простого грамотного рабочего в разносторонне образованного человека с знанием математики и иностранных языков, но юноши, вошедшие в Шлиссельбург, не окончив своего университетского образования, а вышедшие из него европейскими учеными, – это уже дань будущему и твердое на него упование. То похороны, а это – крестины и школа. И там, где возможны такие дни, где горят подобные упования, есть

ли основание и возможность говорить о каком-то духовном отупении и нравственном банкротстве? Шлиссельбург рабочих перековывал в интеллигентов в лучшем смысле этого слова, а интеллигентов обучал быть рабочими. Когда встретитесь с кем-либо из шлиссельбуржцев, поговорите с ним – и изумитесь: чего эти люди, там, в своем «духовном оскотлении», не изучили, чего они не знают, чего они не умеют делать!

Я имею честь лично знать нескольких шлиссельбуржцев, и чрез них знаю всю эту многострадальную группу, причем иных из незнакомых, по большому к ним интересу, может быть, знаю больше и лучше, чем иных, которых знаю лично лишь слегка и немного. Читал я едва ли не все, напечатанное самими шлиссельбуржцами и посторонними о шлиссельбуржцах. И позволю себе выразить, что в результате всех этих впечатлений осталось у меня маленькое недоумение: «Зачем в шлиссельбургских воспоминаниях авторы так часто прибегают к обобщающим местоимениям: „мы“, „нас“, „нам“, „нами“, а в статьях – „они“, „их“, „им“, „ими“?»

Это создает иллюзию, будто в каменном панцире Шлиссельбурга жил и совместно действовал какой-то однородный и стройный, сознательно и преднамеренно сложившийся коллектив, в котором индивидуальности сливались, как ноты в аккорд. На самом деле вряд ли это было так, и даже не могло быть так, потому что теперь на свободе, каждый, по крайней мере, из мне известных шлиссельбуржцев, являет так много личности, настолько ярко окрашенную индивидуальность, что подогнать их под общую корпоративную мерку – «мы, шлиссельбуржцы», – возможно разве посредством прокрустова ложа. Все глубоко интересно: один больше, другой меньше, соответственно обилию и силе талантов, но каждый – сам по себе. Каждый – в высшей степени «я», а не «мы». Если шлиссельбуржцы – корпорация, то без статуса не то что письменного ни даже устного, но хотя бы подразумеваемого, – корпорация долгого безвыходного сожительства разнородных людей из одного лагеря, под одной крышей и в одних стенах, в течение долгих лет обтершего между ними острые углы различий в возрасте,

образовании, прежнем общественном положении и т. д., но отнюдь не сделавшего их дисциплинарно тождественными между собою, ни даже не внесшего в их среду ответственности круговой поруки. Поэтому, когда мемуарист-шлиссельбуржец говорит, положим: «Мы начали такого-то числа сажать капусту», – я это «мы» приемлю безусловно. Но когда он говорит «мы», связывая его с актами религиозной совести, с ответами на характер тюремного режима или, наконец, просто с развитием психологических мотивов, сдается мне, что было бы лучше, если бы во всех подобных случаях речь от «мы» уступала место речи от «я»[1]

Потому что, – вот лежит передо мною фельетон г. Л. Вой-толовского с цитатами из М. Фроленко и М. Новорусского, что «после выхода на свободу многие жаловались, что утратился как-то безо всякой причины самый интерес к жизни», а третий шлиссельбуржец подчеркнул этих «многих» синим карандашом и сердитым вопросительным знаком. Г. Войтоловскому как доказывателю духовного отупения шлиссельбуржцев вне жизни в

коллективе на руку показание М. Фроленко, что в первое время по освобождении «между вновь открывшимся миром и воскресающим к жизни узником стояла какая-то глухая стена. Чувствовалось не только неумение воспользоваться предоставленной свободой, а какое-то нудное безразличие и к ней, и к людям; и мысль, привыкшая столько лет непрерывно думать о смерти, как единственной избавительнице, точно не замечала жизни или сторонилась от нее, как от чего-то далекого и чужого».

А карандаш того же шлиссельбуржца приписывает, что тому виною «полиция, а не свое безучастие». И действительно, кто знает первые дни по выходе на «свободу» Веры Фигнер, Германа Лопатина и т. д., тому известно, что до тех пор, пока они не выехали за границу, — они, собственно говоря, лишь променяли Шлиссельбург каменный на Шлиссельбург живой — со стенами из соглядатайствующих глаз и доносящих языков...

...В подобных условиях, какую жизнерадостность ни развила бы в человеке свобода, может ли ее энергия перейти в действие?

Сколько бы ее ни было, она осуждена на статическое, «скрытое» состояние, вроде скрытой теплоты без разрешения в динамику.

...А будто этого разрешения в динамику самим шлиссельбуржцам и не требовалось, – глубокая неправда. Напрасно г. Л. Войтоловский обобщает для шлиссельбуржцев слова М. Фроленко, что «боязнь толпы заставляла еще долго и мучительно избегать общения с живыми людьми». «Не всех!»[2] Этому субъективному показанию нельзя давать объективного распространения. Живые факты показывают обратное. Многие ли из шлиссельбуржцев по своем «воскресении» остались вне общественно-политической жизни в новой России или «равнодушными» к ней? А почему же двое из них уже снова попробовали опостылевшей тюрьмы, а один значитесь в числе обвиняемых по одному из последних политических процессов? Почему отношение русской эмиграции к проживающим за границей В. Н. Фигнер и Г. А. Лопатину отнюдь не показывает, чтобы она видела в них образчики «угашения в себе коллективного инстинк-

та» путем «добровольного самооскопления?..»

Смерть Людмилы Николаевны Волькенштейн во время известных «беспорядков» во Владивостоке, покойный Караулов в Государственной думе – громкие свидетели того, как сомнителен тезис г. Войтоловского. А сколько можно было бы насчитать свидетельств тихих, безмолвно-деятельных, не подлежащих оглашению... Если бы г. Войтоловский говорил о физической усталости шлиссельбуржцев, – полагаю, что он был бы прав в отношении даже наиболее крепких и хорошо сохранившихся. Приглядываясь к этим людям, мне всегда казалось, что большинство из них, в возбуждении воскресением своим, даже не сознает, насколько оно утомлено борьбою с шлиссельбургскою могилою и как много сил в ней истратило. Но когда этой физической усталости хотят придать значение нравственного умертвления, протест сам бежит с языка. Сфера политическая окружена в русской печати такими условиями, что нельзя в ней сказать всего, что следовало бы. Но взгляните на другие области интеллектуального общения – в науку, в литературу, в публицистику. Г. Вой-

толовский сам напомнил имя необычайно подвижного и общительного Н. А. Морозова. Имя И. Д. Лукашевича менее шумно, ибо строго научная деятельность его как геолога более кабинетна и специальна. Но еще недавно этот шлиссельбуржец издал три тома громадного труда о «Неорганической жизни земли», встреченные всеобщим вниманием и лестными отзывами специалистов[3] И тот самый М. Новорусский, которого г. Войтоловский приводит в пример чуть не совершенного разочарования в свободе и жизни, в результате потери «коллективного инстинкта», – этот самый Новорусский оказался большим мастером говорить с массами в качестве научного популяризатора: редкий талант у нас в России! А какую блестящую стилистикою оказалась и какое публистическое дарование явила, по воскресении своем от «шлюшинского гроба», Вера Фигнер!

Словом, с основным положением г. Л. Войтоловского, что «каждая отдельная личность как бы рвется навстречу всему человечеству», и «человечество движется в сторону всех своих сил», – вряд ли кто не согласится, ибо это

азбука коллективного процесса. Но отрицательный пример, выбранный им в основу своего «доказательства от противного», весьма неудачен, произволен и ошибочен. Настолько же ошибочен, как латинская цитата, которую г. Войтоловский хочет суммировать свой гимн коллективу: «*Homo sum et nil humanum mihi proprium est*», – что, по мнению г. Войтоловского, значит: «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо».

Смею уверить г. Войтоловского, что если бы существовало в латинской литературе такое «старое, гордое изречение», то оно обозначало бы как раз обратное: «Я человек, и ничто человеческое мне не свойственно».

Но такой бессмыслицы никто из латинских авторов не говорил. По-видимому, г. Войтоловский имел в виду известный стих Теренция: «*Homo sum: humani nil a me alienum puto*».

Это вот действительно будет обозначать: «Я человек и не почитаю себе чуждым ничего, что свойственно человеку». А *proprium*, это из другой оперы и совсем наоборот. Ибо: «*Verba aliena opponuntur propriis*»[4].

Р. С. Г. Войтоловский счел нужным ответить на это указание следующими строками:

Выражаю свою искреннюю признательность г. Амфитеатрову за указанную ошибку. Хотя справедливость требует – поделить эту признательность между г. Амфитеатровым и одним киевским гимназистом, от которого на другой день после появления моего фельетона я получил такое назидательное письмо:

«Честерфильд спросил однажды одну семидесятичетырехлетнюю старуху, в каком возрасте женщины перестают любить? Она ответила: „Не знаю, милорд, спросите кого-нибудь постарше меня“. Цитирующим латинские изречения надо всегда поступать как раз наоборот. Если вы хотите избавиться от унижительных замечаний на этот счет, спрашивайте учеников, не достигших шестого класса. Это самый верный способ прослыть выдающимся латинистом».

Киевский гимназист дал г. Войтовскому совет не худой, но по младости своей остроумничает несколько длинно. Человек постарше и с опытом просто посоветовал бы г. Войто-

ЛОВСКОМУ писать на языке, который он знает,
и оставить в покое язык, которого он не зна-
ет.

Примечания

1

Так именно всегда пишет В. Н. Фигнер.

[^^^]

2

Это восклицание в кавычках опять принадлежит шлиссельбуржцу.

[^^^]

3

В настоящее время премирован Академией наук.

[^^^]

4

Высказать слова души и за правду отдать жизнь (*лат.*).

[^^^]